

Обойма

Говорят, что когда военный инженер Сергей Иванович Мосин представил свою трёхлинейку образца 1891 года на одобрение взыскательной комиссии, царь Александр III Миротворец спросил: «А на какое количество патронов рассчитана обойма вашего ружья?» — «Сколько пальцев на руках, столько и патронов — десятков», — справно ответил военный инженер Мосин. «Русскому мужику достаточно и пяток, — определил царь, не мешкая. — Отстрелялся — и в штыковую».

Эти слова из царского наказа сидели в голове молодого-необученного солдата Костика Сирого, жестянщика завода «Красный партизан». Он топал по снегу на защиту Москвы, грея в кармане полушубка одну-разъединственную обойму на пять патронов. Винтовку Мосина нёс в четырёх шагах от него рослый старик Хлебняк, бригадир столярного цеха. Два часа назад, при раздаче оружия, призывникам из народного ополчения выдали по одной такой штуковине на четверых и всем без исключения дали обойму.

— Убьют оруженосца, — разъяснил сержант при раздаче, имея в виду счастливого обладателя трёхлинейки, — бери его боевой инструмент и пали, пока тебя не решат. А решат тебя — передай боевой инструмент товарищу. Патронов, чтобы палить, на всех хватит.

Костик Сирый и думал, вдавливая рубчатые подошвы в снег, на жизненную тему: когда дойдёт до него очередь, чтобы палить? Как ни думай, но выходило: прежде должны убить бригадира Хлебняка, потом решить комсомольского активиста Отварного, за ним — подсобника из склада готовой продукции Джембулова, и лишь затем... Да, следующая очередь — его, Костика Сирого. Отстреляется — дело быстрое, и — что? В штыковую? Это дело нехитрое. Но положено ли по уставу одиноко ходить в штыковую? Вот ведь вопрос: положено или нет? И спросить не у кого. Офицеров не видно, а до старика Хлебняка — расстояние: четыре шага в зимнюю пору при простуженном горле и завьюженном ветре — это тебе не сказки сказывать на полатах в сочельник. Легче по команде передать, через Джембулова. Торкнул его локтем в бок, где под ватником грелась обойма:

— Джембулов.

— Слушаюсь!

— Положено по уставу одиноко ходить в штыковую?

— Ей-богу, не знаю.

— Спроси у того, кто справа.

Справа от Джембулова шёл комсомольский активист Отварной.

Джембулов торкнул его в бок, где под ватником грелась обойма, спросил что приказано и от себя добавил:

— Передай по начальству.

— Одиноко? — переспросил у него Отварной.

— Ей-богу, не знаю. Однако, одиноко.

Через три минуты, пройдя обратный путь от старика Хлебняка, ответ добрался по назначению до Костика Сирого. Ответ гласил: «Одинокая ходит гармонь».

— При чём тут гармонь? — спросил Костик у Джембулова.

— Ей-богу, не знаю. Но всё, полагаю, по уставу.

«Устав не дураком писан», — подумал Костик Сирый и забеспокоился: где тут в снежном мареве раздобыть гармонь, чтобы сходить в штыковую атаку? А сходить придётся. Как ни крути гвоздящую мысль вокруг мозговой извилины, но ему в живых оставаться последним из всей четвёрки, значит, и в атаку ходить, примкнув штык. «Эх, атака ты, атака, дураку дана для страха. Ну а парню-храбрцу страх, конечно, не к лицу», — сочинил, не подумав, Костик Сирый. Это с ним случалось неоднократно. Стоило отключиться от разных там досужих дум, как стишки — сами собой — втемяшивались в голову, словно небо их посылаю, считай, для развлечения.

Честно признаться, это было единственное развлечение на этот час. Где-то рвануло, рядом ухнуло, пулемётом задолдонило у опушки леса. Искры посыпались из глаз, и в их ослепительном сиянии высветилась избушка станционного смотрителя, скособоченная, с порушенной крышей и выбитыми стёклами окон. Спотыкаясь о рельсы, проложенные, как выяснилось при беге, под ногами, Костик Сирый сыпанул к нежилому по внешнему виду помещению. Следом за ним рванули

Джамбулов и комсомольский активист Отварной. Старик Хлебняк запозднился с передвижением по открытой местности и попал под осколок артиллерийского снаряда. Прилёг на шпалы, посмотрел на приближающийся немецкий танк и выпустил по нему всю обойму, что и полагалось сделать перед смертью, дабы передать оружие следующему товарищу. А где он — следующий товарищ? Оглянулся старик Хлебняк, ища глазами кого-нибудь из попугачиков на тот свет, да так и застыл, уже не дыша даже для согрева рук.

Комсомольский активист Отварной, наблюдая у порога избушки за немигающим взглядом старика Хлебняка, вспомнил, что он и есть следующий товарищ, которому положено перенять оружие. Он вынул из кармана обойму и потёр её о шершавый рукав ватника. По каким-то ещё неведомым соображениям ему показалось, что обойма вся насквозь промёрзла и её прежде надо как-то обогреть, иначе порох в гильзе не вспыхнет и пуля не шархнет по врагу.

Эти соображения он довёл до ума рядового Джамбулова. Тот понял мало, зато главное: бежать за винтарём Хлебняка придётся ему и стрелять, если что, тоже придётся первым, в нарушение убойной очереди. Он и побегал. И принялся стрелять, вернее, отстреливаться, поспешно ставя ноги назад в нужном направлении.

Стрелял-отстреливался. Все патроны израсходовал, но трёхлинейку доставил по адресу — прямо в руки комсомольского активиста Отварного. Тот принял оружие и удручающе покачал головой: — Что же ты так?

— А что? — спросил возбуждённый от счастливого для жизни исхода боя Джамбулов.

— Где твоя обойма теперь?

— Ей-богу, не знаю. Пуля — дура, не скажет, куда летит.

— Стрелять надо по врагу, а не в небо, — рассудительно пояснил Отварной, снаряжая обойму.

Костик Сирый пришёл на выручку приятелю: — Вот тебе подоконник, а вот и враг, — и указал на немецкий танк.

Отварной был не снайпер, но прицелился, наводя ствол на смотровую щель в броне чудовищной по размерам машины. И нажал на спусковой крючок: раз — отдёргнул затвор, два — отдёргнул затвор. Пять выстрелов — ни одного попадания. Шестого не последовало. Обойма кончилась, а сам не погиб.

Как поступить в этом случае с оружием?

Передать по назначению!

И комсомольский активист не заупрямился — передал.

Костик Сирый подул на пальцы, чтобы двигались гибче, и подумал: куда стрелять посподобнее? В лоб по башне? Старик Хлебняк пробовал — не пробил. В смотровую щель? Комсомольский

активист Отварной пробовал — не попал. Что же это за чудо-танк? Заговорённый, что ли?

— Да ни хрена он не заговорённый! — распалился Костик Сирый.

И давай бить по круглым канистрам с бензином, навьюченным на металлическую махину, чтобы ей хватило горючего добраться до Красной площади.

Падкое на огонь топливо и схватилось коптящим пламенем. Схватилось так, что подпалило небеса, по которым прежде бабахал без толку Джамбулов.

Немцы выскочили из танка, катаются по снегу, задымляя атмосферу прожигаемой насквозь униформой.

Расстрелять бы их всех походя. Да обойма кончилась. Что предпринять?

— Теперь в штывковую! — вспомнил Костик Сирый наказ батюшки царя-мироотворца из прошлого века.

— А как по уставу без гармонии? — задал наводящий вопрос комсомольский активист Отварной.

— Ей-богу, не знаю, — простуженно шмыгнул носом Джамбулов. — Но трое на троих — это стенка на стенку...

— Мы и без гармонии зададим им такую музыку с перцем, что... — сказал на психе Костик Сирый и примкнул штывк, оставив на потом все разумные мысли.

— Баста!

— Помирать нам рановато!

— Ей-богу, будем жить!

И все трое пошли в штывковую на автоматы, держа попеременно — для устрашения — винтовку наперевес.

Следок в следок

Из трёх солдат при защите рубежа в живых остался только Костик Сирый.

Ему и учинили допрос за перерасход живой силы.

— Где люди? — спросил у него капитан Задолбов.

— Умерли.

— А немцы?

— Немцы убиты.

— Почему же мы их не видим в наличии?

— Их забрал танк, тот, что не подбитый.

— А подбитый?

— Подбитый он взволок на прицеп и тоже забрал.

— А тебя?

— Я спрятался.

— Как так спрятался, когда кругом враги?

— Так и спрятался, по той самой причине — враги.

— И не нашли?

— Да война кругом: справа пушки грохочут, слева пулемёт дурдомит, напрямки пуляет наш уральский полк народного ополчения. А сзади, за ним, Москва — отступать некуда.

— Немаки, выходит, испугались?

— Поди спроси.
— А вот и поди, а вот и спроси. Это я тебе говорю, капитан Задолбов.
— Но я по-немецки ни бум-бум.
— А они по-русски.
— Как же спрошу?
— Кулаком по чайнику— и тащи сюда. Мы у них и спросим. Про рекогносцировку их сил. А иначе обанкротимся с наступлением.
— Но ведь...
— Разговорчики! Нам живой «язык» нужен, а не твоя брехня из разговорного жанра.
— Так я мигом.
— Без «языка» не возвращайся, не то припомним тебе, что людей в расход пустил, а последний патрон не сберёг.
— Какой патрон? — растерялся Костик Сирый.
— Опять не дошло? Тот, последний, что— для себя.
— Для себя у меня не патрон, а штык, — нашёлся солдат и взвалил на плечо трёхлинейку.— Разрешите идти?
— Иди.

И пошёл Костик Сирый по снегу в ту закрытую для наступающих частей сторону, где вражий глаз высматривает наших лазутчиков. Пошёл— не оступился: точно по проложенному танковыми траками маршруту. Следок в следок. Пошёл и дошёл. А когда дошёл, то и вышел к окраине деревни: на десяток домов одна пыхающая дымом труба. А возле неё— конь-тяжеловес, впряжённый в сани.
«В избе немаки!— догадался солдат.— Кашеварят, небось».

Приноровился нюхом, угадал запах самогонки: «Поминки, чай, справляют по тем, кого я штыком укандобил».

Облизал губы, протёр рот кистью руки, чтобы не замёрз в ледышку. И дальше по следку траков к сцепленным тросом танкам. Один пыхтит, двигатель прогревает, другой, обожжённый, в молчанку играет, снуло опустив к земле пушку. «Ого!— подумал Костик Сирый.— Какой знатный „язык“, и живой притом». Нет, не о танке подумал Костик, а о том припёртом к рычагам водиле, который гоняет на нейтралке мотор, полагая, что таким образом справится с генералом Морозом. Да ни хрена не справится, если его по чайнику трахнуть, как давеча велено, и в плен утащить.

Вполз на броню, добрался, оскальзываясь, до открытого люка.

— Ганс? — послышалось снизу.
— Я-я! — откликнулся, растягивая личное местоимение по-немецки, в смысле «да», хотя отродясь ни на каком наречии, кроме русского, не бухтел.

Представившись, шархнул мерзлявого гада по кумполу. Долго ли умеючи? И что? А то: сник вместе с ним. Не вытащить безвольную фигуру на простор русской земли: пивной бочонок— не человек, слишком грузен для хилых плеч. Пришлось

мозговать по-спешному, пока по соседству не прервались поминки. «Мозгуй не мозгуй, всё равно получишь— где наша не пропадала»,— снова подумал Костик Сирый. Выбрался из железа, выпряг коня-тяжеловеса из саней и прикрепил его задком к гундосому танку.

— Но, но!— дал животине по заднице нагоняй.— Поехали, что ли!

И поехали. Следок в следок по спрессованному предварительно теми же танковыми траками снегу— Но, но!— говорил, не думая, Костик Сирый— подгонял лошадь, опасаясь выстрела снайпера.

И теперь, уже не думая ни о чём из-за опаски близкой смерти, машинально сочинил стихи, как это обычно с ним и случалось: «Когда закончится война и всех врагов отправит „на“, куплю пиджак я и штаны, чтобы гулять на выходных. На лацкан я прилажу бант и буду выглядеть как фронт. Влюблюся в девушку-душу, женюсь и деток нарожу».

Сочиняя стихи, Костик, ясное дело, потерял чувство времени. А когда очнулся, глядь, уже среди своих, и не один, а с тягловым животным— конём, двумя вражьи танками и живым «языком» в придачу. Следок в следок вышел к избушке станционного смотрителя, возле которой ещё сегодня тыкался в штыковую атаку на автоматы.

— Здравствуй, солдат!— сказали ему с приветствием.

— Здравия желаю!— ответил он с радостью: живой, где ни пощупай, и нешуточные трофеи доставил.— Смекалистый, мать твою! Это я тебе говорю, капитан Задолбов.

— Рад стараться!

— А не послать ли нам тебя?..

— Оставьте при исполнении!

— Нет-нет, не туда мыслью заплетаешь. В офицерское училище пошлём тебя на пряжки. Война— не пальцем делается. Люди нужны, бля!

— Честь имею!

— Береги её смолоду, а то обанкротишься.

Дальнейшее Костик не услышал. В нём уже хороводили стихи и писались сами по себе— в уме, конечно: «Жизнь ещё ценится, покуда пиво пенится. Влюблюсь. Женюсь. Своим детям житуху сытную создам».

Сталин – Гитлер = десант на Эльбрус

«Озлюсь на девушку-красу и завалю лису в лесу»,— сочинил, не думая, Костик Сирый, когда перед отбоем зашёл в душевую, чтобы в здоровом теле иметь тщательно вымытый дух. На фанерном шкафчике была прикреплена бумаженция с надписью, старательно выведенной чернильным карандашом башковитым башкирцем из Уфы Алдаром Ташгимеровым: «Чистое банное полотенце для мойки. Кол. 10 штук на момент закладки. Количество штук меняется в порядке употребления».

Растегнув гимнастёрку, Костик готов был уже стунуть её через голову, как прозвучала сирена.

— Ро-о-ота, тревога!— крикнул дневальный.

Личный состав военного училища выставили шеренгой в коридоре, между плакатами с призывами отдать жизнь за Родину и генералом из Генштаба, могучим, откормленным, в орденах и медалях, которого сопровождал знакомый уже Костику капитан Задолбов.

Он и выступил перед солдатами, во множестве своём необстрелянными и оттого до ужаса храбрыми:

— На вашу долю выпало ответственное и исключительно почётное задание. Это я вам говорю, капитан Задолбов. Вызываются добровольцы.

Замполит начальника училища тут же поспешил с наводящим вопросом:

— Есть добровольцы?

Добровольцы? Строй курсантов молча шагнул вперёд.

Приезжий генерал недовольно покосился на замполита, и тот проглотил, не разжёвывая, следующий вопрос. А он, если отбросить секретность, гласил: «Кто из вас прыгал с парашютом?» И задать его, естественно, полагалось приезжему генералу.

Замполит отлично понимал: ни один из его воспитанников к парашюту и не прикасался. А уж прыгать... Прыгали только через спину друг друга, когда ради «физиухи» играли в чехарду.

— Кто из вас прыгал с парашютом?— приезжий генерал задал главный вопрос сегодняшнего дня.— Шаг вперёд— за предел шеренги! И в строй к капитану Задолбову!

Первым шагнул за предел, хоть никогда и не прыгал с парашютом, Моисей Герцензон, сын одесского ювелира Давида и его жены Мани, урождённой Гаммер. Только что он получил известие о том, что погиб его старший брат Леонид— краснофлотец-подводник, и теперь рвался в бой— поквитаться с врагом. Вторым шагнул за предел башковитый башкирец из Уфы Алдар Таштимеров. Он тоже не прыгал с парашютом. Но имя требовало: Алдар— славный. Но фамилия велела: Таштимеров— это «таш»— «камень», а «тимер»— «железо».

И Костик Сирый, понятно, не прыгал с парашютом. Но разве мог он припоздниться, если братьяны по оружию произвели с двух боков от него волновое движение воздуха— и куда? Навстречу смерти! Нет, туда их одних он не пустит! И Костик, не медля, вышел из строя: погибать, так за компанию. Эта мысль, по невидимой инерции, передалась и остальным курсантам. Весь строй сделал шаг вперёд, по определению— на тот свет и к бессмертию.

И тогда приезжий генерал раскрыл смысл задания Генерального штаба: от них, не имеющих

представления, что такое стропы, купол, вытяжное кольцо, требовалось высадиться на Эльбрусе, согнать егерей отборной немецкой дивизии «Эдельвейс», установивших там мраморную фигуру Гитлера, и на смену каменному болвану впечатать на вершине гипсовый бюст Сталина.

Каждый из курсантов получил по одному Сталину, засунул его в вещмешок и, вооружившись винтовкой Мосина, рванул на аэродромное поле.

— От винта!

— Есть от винта!

...Одни погибли сразу же из-за неумения раскрыть парашют. Другие разбились об острые уступы каменных склонов. Третьи истекали кровью от ранений при штурме огневых точек и горных гнёзд противника.

Костик Сирый летел сверху вниз, не думая о последствиях. Его мотало, как чёрт знает что в проруби. Наконец он приземлился, уцепившись за скалистый выступ. «Жив?— подумал о себе.— Жив! Жив!»

Когда человек остаётся в живых, он ищет себе подобных— живых. Костик так и поступил. Поискал и нашёл.

Сначала он нашёл башковитого башкирца из Уфы Алдара Таштименова.

— А где Сталин?— спросил, видя, что тот без вещмешка.

— Оторвался от спины.

— Как?

— Дёрнул я за кольцо, меня самого дёрнуло, парашют раскрылся, Сталин оторвался. И в тьму-таракань— бац!

— Скажем по начальству, что прямо на врагов, как бомба, чтобы их разорвало.

— Скажем... А твоего Сталина поставим на место Гитлера.

Вытащили из рюкзака гипсовый бюст: глядь, а у него голова отдельно, торс отдельно.

— Что такое? Почему секир-башка?

Костик догадался о причине отсечения верхней конечности.

— Приземляясь, я на бок завалился. Вот и... баюшки-баю...

— Делают вождей из всякой дряни,— вздохнул башковитый башкирец.

— Не говори вслух, враг может услышать.

— А что говорить, если враг слышит?

— Будет праздник и на нашей улице!— Костик выдал подсазку напарнику по неприятностям— и будто передал пароль.

Услышал его Моисей Герцензон и вышел на звук родной речи.

— Будем жить, ребята!

— А Сталин?

— Что Сталин?

— Цел-невредим?

— Что с ним случится? Цел!

— Тогда с Богом, — сказал башковитый башкирец, чтобы реабилитировать себя за потерю государственного имущества.

— Пойдём, — согласно кивнул Костик Сирый.

И вопросительно взглянул на Моисея: как пойдём? Кругом шпреханье, неподалёку надрывается немецкий ручник мг.

— Пойдём своим ходом, — ответил Моисей.

И они пошли своим ходом: пулей, штыком, гранатой. И с Богом. И со Сталиным. И, не ведая, на кого уповать больше, добрались вплотную до геноссе Гитлера и сбросили его в пропасть. А на освободившийся бугор, как на пьедестал, поставили своего назначенца.

— Кто жив, к нам! — кликнули выживших.

Малая горсточка бойцов собралась вокруг Моисея Герцензона, Костика Сирого и Алдара Таштимерова и громыхнула салютом — в честь живых и мёртвых. А наутро они сдавали под расписку о неразглашении лишних Сталиных завхозу военного училища. Взамен получали кубари в петлицы, по штуке, по две на брата, из рук приезжего генерала и предписание для отбытия на фронт, в действующую армию.

«А в заначке по сто грамм...»

Когда Костик Сирый попал в плен, у него спросили про национальность.

— По батюшке русский, — ответил он.

— А по матерному?

— По-матерному батюшка запретил рассказывать. Некультурно на слух получается.

— Значит, еврей?

— Почему — еврей?

— У евреев национальность по матерному корню передаётся.

— Едри её в корень, вот национальность!

— А ну, балабол, снимай штаны!

— Чего так?

— В корне вся твоя подноготная.

Костик Сирый спустил штаны, чёрные мундиры обследовали предмет их медицинских интересов. — Не обрезан, — уточнили, но всё равно, посоветовавшись, поставили в один строй с пленными подозрительного оттенка кожи и поспешно, опасаясь контрнаступления, дали отмашку пулемётчику: — Начинай!

Тот и нажал на гашетку.

Поздней ночью еле живые люди выбрались из расстрельного рва. Осмотрелись: звёзды, лес, штаны спущены.

«Ага, — подумал Костик Сирый, — каждого проверяли на принадлежность к евреям».

— Обрезан? — спросил у одного из товарищей по несчастью, чтобы после чуть ли не смертельного исхода выглядеть в его растерянных глазах не чужаком, а своим.

— Обрезан.

— Еврей?

— Татарин.

— А почему — на распыл?

— Потому что придурки больные! Национальность по хреномудрии определяют.

— А со мной у них вышла оплошка, — совсем не по делу сказал Костик. — Не обрезан, а определили...

Повсюду посверкивают гильзы. И мёртвые глаза.

Живые люди потянулись к живым. Знакомятся, подтягивая штаны.

— Хабар Ардашев, татарин, город Казань — столица...

— Костик Сирый, русский по батюшке. Сейчас из Москвы, а по рождению с Урала. Завод «Красный партизан», народное ополчение.

— Марик Гаммер, еврей по определению. Одесса, улица Разумовская, сто семьдесят восемь. Заходите в гости, когда домой вернусь.

— Казбек Султанов. Азербайджан, Баку, нефть, два жена, много дети.

С неба на них смотрела во всё своё недремлющее око Луна. С опушки леса — красноармейцы-лазутчики из кавалерийского разъезда. А из будущего на кое-кого — и жизнь.

В голове у Костика помутилось, прозой сказать было больше нечего, и сами собой народились стихи:

Мы — двужильные собраты.

Наше имя — Первый сорт!

Рождены не для парада —

для битья фашистских морд.

Ать-два — левой! Ать-два — правой!

И в атаку! Смерть врагам!

Носим мы в кармане славу,

а в заначке по сто грамм.

Сабли наголо, пули врзлёт

С гиком и посвистом ворвались кавалеристы в село. Шашки блещут в лучах зари, глухо бьют карабины, убойную скороговорку ведёт пулемёт.

Ржанье коней и громкие крики полнят влажный воздух. Гитлеровцы выскакивают из белых мазанок, щёлкают затворами, но не вырваться им из свинцовой круговерти, не уйти от клинка. Полицай — те осторожнее, они скидывают с себя обмундирование, остаются в исподнем и выходят — руки вверх, ладонями к солнцу: на, глядите, крови на них нет. Крестьяне мы обычные, ни в каких карательных операциях не участвовали. Враки всё, враки! И атаман наш Жупан, что с кровью на руках, он и не атаман нам ни в коем разе! Мы с ним и не знаем вовсе!

— Бросай оружие! — предупредительно кричит с тачанки Костик Сирый и, заряженный азартом боя, даёт отменную очередь из «максима». Вдоль улицы, поверх голов.

— Береги патроны! — напомнил Марик Гаммер, подавая ленту.

— На мой век хватит! — усмехнулся Костик.

— А на вражий?

— Что?

— Береги патроны, вот что!

Тишина, готовая в любой момент лопнуть от внезапной стрельбы, осторожно двинулась по селу. — Отвоевались, — удовлетворённо басит кучер тачанки, косит глаз в сторону пулемётчиков и будто призывает их к разговору.

Но о чём говорить? О жизни? О смерти? Пустой разговор, и смысла в нём никакого: давеча прощались с белым светом, а сейчас празднуют жизнь за счёт чужой смерти.

Пленных уже выстраивают в колонну. Немцев отделяют от полицаев — их и берёт под обзор прищуренных глаз командир конного разъезда майор Задолбов. Пружинистый, широкий в кости, он повелительно размахивает маузером, требует внимания:

— Граждане бандиты! Признавайтесь без обмана: кто из вас будет главный атаман Жупан?

— Это тот негодяй, что ко мне в штаны заглядывал! — подал голос Костик Сирый. — Национальность, сволочь, иском!

— Во-во, пидорас земли русской! — подхватывает майор Задолбов.

Никто не признаётся. Все стоят, переминаются с ноги на ногу и молчат. И тут, отбиваясь от вислоусого деда, к командиру конного разъезда протиснулся мальчонка лет десяти.

— Дядечко! — дёргает за рукав гимнастёрки. — Атамана тут нема. Он в дымнике заховался.

— Адрес, пацан!

— На крыше нашей хаты. Вон она — тама! — указал пальцем.

Вислоусый дед подскочил к ребятёнку, дал ему по заду и потащил, упирающегося, за собой.

Майор Задолбов обернулся к тачанке:

— Снять этого гада с крыши! Нечего банкротиться!

Костик Сирый взялся за рукоятки «максима», проверил прицел — и пулемёт затрясся, осыпая черепицу кровавым порошком наземь.

Труба, однако, выстояла — не берёт стандартный калибр прочных кирпичей, из которых она сложена.

Что тут соображать без толку? Хочешь — не хочешь, а придётся бойцам подставлять себя под огонь.

По стремянке, прислонённой к хате, поднимается наверх Казбек Султанов, держа наотмашь пистолет. Только выглянул из-за конька крыши, как угостился свинцовой градиной, но не до смертельного исхода. Принял его Хабар Ардашев, спустил на руки красноармейцев, а сам по перекладинам раз-два — и вымахнул на оголённые стропила, чтобы всю обойму положить на бандита.

Жупан, дважды раненный в грудь, вывалился из убежища и скатился с крыши.

Извивается на пыльной мостовой, пробует встать.

— Это ты заглядывал в штаны наших солдат на предмет обрезания? — тронул его мыском сапога майор Задолбов.

— Он! Он! — откликнулся Костик Сирый.

Его тут же поддержал татарин Хабар Ардашев: — Именно он, харя нерусская!

Командир конного разъезда коротко хохотнул и расстегнул ширинку:

— Тогда и у меня посмотри. Это я тебе говорю, майор Задолбов.

Косая струя резанула воздух, пенно заполнила гвоздевые выемки у самого лица корчившегося от ненависти полицаю.

— А это — чтобы не мучился, — сказал Хабар Ардашев и докончил начатое на крыше дело — пулей промеж бровей.

— По коням! — раздалась команда.

И рванули бойцы на рысях из села, оставив в нём лишь конвой для пленных.

Шла война, и нельзя было думать, что кто-то довоюет за тебя.

Воевать надо было самому. И они воевали.

Дан приказ тебе — и топай,

а иначе всем — труба.

Мы с тобой друзья до гроба,

моя верная судьба.

Впрямь шагну, сверну налево,

проползу, где ночь темна.

Я босяк, ты королева.

А тропиночка одна.

«Вёсны наши малые, воды наши талые...»

Взяв город Лидово, полк Задолбова расквартировался по назначению. Штаб, конечно, определился в бывшем особняке помещика Зигайловского, а разведроты — тут же, что говорится, под боком, в подвальном помещении — винном погребе, если по-научному.

Так что Костику Сирому не пришлось долго подниматься по крутым ступенькам, когда порученец выкликнул его наверх.

— Сам зовёт, — доверительно доложил. — Какое-то начальство подгрёбает на выдачу орденов за город Лидово. А с чем встретить, так не с чем. Обанкротимся, говорит, со стыда.

— Да в подвале там вина заморского — залейся.

— Прихватил?

Костик пошлёпал по фляге, прикантованной к поясу.

Порученец закатил глаза, почмокал губами, будто он человек с пониманием запрещённых для употребления внутрь напитков.

— Не та это музыка, что заказана сверху.
— «Языка», что ли, снова брать? Да на хрен он нужен теперь?
— И «язык» — не из той оперы будет.
— Не морочь голову, Ваня! Сказывай.
— Секретное дело. Приказано не разглашать.
— Ну и не разглашай, а сказывай. А то сам всё выпью!

Очень уж Ване захотелось разгласить «секретное дело», но поздно настроился на выпивку: вышли к штабному кабинету с плакатом «Враг подслушивает!» над табуреткой с полевым телефоном, и теперь рот держи молчком — адъютант вострит ушики.

— Лейтенант Константин Сирый явился! — Костик кинул пятерню к пилотке. — Разрешите войти?
— Проходи, пока не задерживают, — кивнул адъютант, бывший милицейский сыскарь Умнихин. — Он тебя сам дожидается. С заданием по твою честь.

«Какая честь? — спёкся в душе Костик. — Неужто прослышал про мои посиделки с Настей-банщицей? Вряд ли... В курсе только Марик Гаммер, а он — язык за зубами, слово — на крючке. Не сболтнёт. Только проиграет на трофейном аккордеоне с намёком на ситуацию: „Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону...“ И всё!»

Подполковник Задолбов при виде командира разведроты поднялся из-за массивного, с бутылочными ножками стола:

— Докладывай!
— Честь имею! — Костик, чтобы не путаться в сложных фигурах речи, сразу упомянул о чести.

По его прикидке выходило так: если командир прослышал что-то худое про посиделки с Настей, то без промедления тут же разоблачится на конкретную тему. Но не разоблачился. Значит? Скорей всего, задумал слишком заумную рекогносцировку на местности.

— Вот и поговорим по чести, — приступил подполковник Задолбов к изложению своих мыслей, которые, к сожалению, не читались на расстоянии. — Хочешь войти в историю?

— Это ещё в какую? Вы о Насте?
— Здравсьте! Я об истории, а вшивый о Насте!
— Я не вшивый.

— Тогда не крути мне яйца с этой банщицей! Это я тебе говорю, подполковник Задолбов. К нам едет...
— Ревизор?

— Это у Гоголя «Ревизор», а у нас комедь посерьёзнее будет.

— Большое начальство в генеральских звездах? — строил догадки Костик Сирый.

— Сначала Соловьёв-Седой. Слышал о Соловьёве-Седом?

— «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат».

— В яблочко!

— В разведроту все снайперы.

— А теперь, сынку, распахни зубарики и скажи: слышал ли сегодня на зорьке Левитана — как он читал по радио приказ Верховного о присвоении частям и соединениям гвардейских званий и имён освобождённых городов?

Костя смущённо почесал костяшками указательного пальца кончик носа. Именно в это предутреннее время, когда всем, кроме жаворонка, сладко спится, и обсуждал он с Настей в предбаннике насущные вопросы о чести девичьей и о чести мужской, причём так полюбовно, что — не разлей их вода даже из шайки с кипятком.

— Обанкротишься ты со своим незнанием, — огорчённо сказал подполковник Задолбов. — А весь полк по твоей милости обанкротится перед большим начальством, какое следует за народным композитором Соловьёвым-Седым. Непонятно?
— Никак нет!

— Незнание — мать непорядка, заруби это себе на носу! А заодно запомни: в приказ Верховного включён и наш полк. Отныне не просто стрелковый, а гвардейский.

— Подвалы полны...

— Не туда гнёшь. Нам теперь требуется песня, своя, строевая. Чтобы с ней, подруженькой нашей, и промаршировать по плацу за вручением гвардейского знамени.

— Ну так, товарищ подполковник, вы ведь сами говорите, Соловьёв-Седой приезжает... Композитор!

— А текст?

— Что «текст»?

— Ты у нас поэт или кто?

— Или кто. В рифму могу.

— Точное попадание! Это я тебе говорю, подполковник Задолбов.

— А песню...

— Непременно в стихах, учти. Иначе обанкротимся. И подфарти композитору насчёт фамилии. Типа: «Соловьи-соловьи...»

— Было. И Фатьянова не переплюнешь.

— Не банкроться от испуга. Возьми напрокат вторую часть фамилии — Седой.

— «Над седой равниной моря гордо реет буревестник», — процитировал Костик, что пришло — не приподнилось на ум.

— Было и это, — вздохнул подполковник Задолбов. — Но не тушуйся, сам пропадай, но полк выручай!

— Есть выручать! Свободен?

— Иди и назад без стихов в рифму не возвращайся!

Костик козырнул и двинулся к двери, теряя по пути дар речи и досужие мысли, что обычно с ним и творила природа в безвыходном положении, когда взамен — во спасение — приходили стихи.

И они не обманули своего создателя — пришли:

Вёсны наши малые,
воды наши талые.
Соловьи седыми стали,
а грачи линялыми.

Пулемёт вовсю кукует.
Годы, фриц, подсчитывай!
Не ищи ты жизнь другую,
сгинешь здесь, под Лидово.

Годы наши звонкие
не прошли сторонкою,
а остались в памяти
вместе с похоронкою.

Костик Сирый и не заметил, что рука его самостоятельно потянулась к фляжке с импортным вином. Глоток-второй — передача направо, адъютанту. Глоток третий-четвёртый — передача налево, порученцу. Приняв назад алюминиевую посудину, стихотворец младшего офицерского ранга вложил в глоток чуть ли не генеральского звания, во имя, так сказать, поднятия творческой активности той не подотчётной даже рассудку части его организма, которая и до Киева доведёт. И... окосел по самую макушку, увенчанную всё ещё пилоткой, а не фуражкой с золотой кокардой.

При спуске в погреб Костик читал произведение собственного сочинения отнюдь уже не в уме, а речитативом, чтобы не забыть какую-нибудь строку. И благодаря возбуждённому выкрику-рефрену: «Желаю музыку! Полцарства за музыку!» — вытягивал на себя прочих любителей стихов и крепких алкогольных градусов. А среди них — и Марика Гаммера, своего заместителя и друга закадычного. Тот в последние дни после взятия Лидово не расставался с трофейным «Хоннером», аккордеоном на сто двадцать басов с перламутровой клавиатурой. И музицировал на нём, порождая попутно «фрейлехсы», как некогда в одесском парке Шевченко, где, бывало, в одной компании со своим дядей Ароном Гаммером и сестрой Эммой, исполнительницей русских, еврейских и украинских песен, давал концерты или играл на танцах.

Нечего и говорить, что спустя сутки, когда Соловьёв-Седой прибыл в расположение воинской части подполковника Задолбова, его встречали готовым маршевым «фрейлехсом» собственного армейского изготовления. С ним, в наступательном ритме праздника, и отправился полк за гвардейским знаменем, а затем и в бой:

Годы наши звонкие
не прошли сторонкою,
а остались в памяти
вместе с похоронкою.

После войны эту песню уже не исполняли. Говорят, её запретили за пессимистические настроения, навеваемые «похоронкой». Большому начальству, раздающему ордена и гвардейские значки, наверное, хотелось, чтобы войны были жизнеутверждающими и ни в коем случае не напоминали о смерти. Должно быть, водятся и такие войны.

Но, скорей всего, на другой Земле.

Однако другой Земли для нас не придумано. Посему и войны у нас местного значения — земные, как и стихи Костика Сирого.

Следок в следок — тропа намечена
гранатой, пулей и штыком.

Пройдём к Берлину по Неметчине,
уча язык: «Халь! Шиссен! Ком!»

Получим пулю за отличие
и угодим в тот райский сад,
где будем слушать трели птички,
взирая с неба на Парад.

Надпись на Рейхстаге

Из тысяч надписей на Рейхстаге эта, ставшая достоянием семейного альбома, практически никогда не цитировалась в репортажах о взятии Берлина. Сделана она углём на цоколе одной из колонн, второй или третьей от входа — ни Костик, ни Марик точно упомянуть не могли. Но смысл её помнили дословно. Вот она:

«Здесь, на Рейхстаге, в день нашей Победы расписываемся собственноручно и полюбовно при полном взаимном согласии на заключение брака.

Невеста Эмма Гаммер.

Жених Константин Сирый.

Свидетель со стороны невесты Марик Гаммер.

Свидетель со стороны жениха Сёма Штырь.

Печать обещал поставить командир полка подполковник Задолбов.

9 мая 1945 года.

Сквозь жизнь, сквозь смерть — в сплошной атаке —

Мы шли вдоль огненной стены

И расписались на Рейхстаге,

Чтоб жить без горя и войны».

Эту надпись я видел в детстве. На фотографии. Но не терял надежды, что увижу её когда-то и воочию. Такой случай, как мне представлялось, выпал через двадцать лет после Победы, в 1965 году, когда нас, солдат 1-й гвардейской танковой дивизии, подняли по тревоге и кинули из Калининграда в тысячекилометровый марш.

Направление?

Мы полагали — на Берлин.

Но командование предпочитало проводить манёвры в Калининградской области.